

10
— — — 1938

РАЗРУШЕНИЕ СТАРОГО МИРА ПРИЗРАКОВ

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ ГОРЬКОГО *

Б. Бялик

...Шум революционного приюта прорывается сквозь плотно закрытые окна и обрушивается на мечущихся людей. И люди реакции уходят на время со сцены, — Достигаев, Мелания, супруги Звонцовы, — и приходят те, кто тянется к новому — порывистые, простые, робкие, искренние, — приходят, чтобы встретить рождение нового мира и тяжелую смерть Егора Булычева.

(Шура, Глафира, Тятин, Таисия. Булычев почти падает навстречу им. За окнами густо поют. Шура бежит к окну, открывает его, вливается пение).

Булычев. Что это? Панихида. Опять отпевают!

Так умирает Егор Булычев, и по сцене начинает снова Достигаев.

... Огромное зарево пробивается сквозь плотно закрытые ставни и стелется по полу красными полосами. Сотканное из этого зарева, светятся Бородастый солдат и Рябинин, а отблески пожара резко очерчивают угловатую фигуру Шуры, и кажется, что пылает ее рыжеволосая голова. Но, когда за решетку красных полос попадает снующая фигурка Достигаева, то зарево пронизывает, ее как пустоту:

Достигаев. Пожар со спиртного завода на лесной двор перемахнул, зарево огромное! Ставни у нас с улицы закрыты, а все-таки в зале, на полу, красные полосы лежат... Неприятно!

Так запечатлевается отраженный свет революции и ее гулкое эхо в барских домах буржуа, так раскрывается картина заката капиталистической эры: «Булычев и другие», «Достигаев и другие» — звенья драматической трилогии Горького.

В горьковской трилогии дана галерея врагов революции, не имеющая себе равной по многообразию и всесторонности отображения и классовых и индивидуальных черт. Фабриканты, купцы, помещики, губернаторы, офицеры, полицейские, игумены, попы, адвокаты-филистеры, знахарки и т. д. и т. п. — они имеют своих представителей, эти враги всех мастей и оттенков, воплощенных здесь в яркие, полнокровные художественные характеры. И над всеми ими возвышаются два замечательно слепленных образа людей, именами которых названы первые части трилогии, — два обобщающих образа уходящего старого мира.

Образы Егора Булычева и Василия Достигаева сложны совершенно особенной сложностью, каждый по-своему и каждый по-разному, сложны своей смысловой наполненностью, своим особым образным рисунком, сочетанием в них реалистической типичности со поднимающимся над нею огромным идейным обобщением. Скульптурно выпуклый, написанный размашистыми рембрандовскими мазками, Егор Булычев кажется сперва, — такова игра светотени, — человеком, уходящим от старого мира, но не завершающим своего перехода к новому, — то, чего достигнет Шура Булычева, — только потому, что тяжелая болезнь приводит его к преждевременной смерти. Рядом с ним обнажаемый художником Достигаев, — обнажаемый его бесконечными призывами к приспособленчеству, всем известной манерой «прятаться в словах», его нервной подвижностью, даже его... фамилией! — кажется сперва чрезвычайно статичным и ясным уже с первых его слов в «Егоре Булычеве».

Однако Егор Булычев, — действительно ненавидящий окружающий его мир — мир подлой и грязной наживы, — не человек, уходящий от этого мира, а человек, неразрывно связанный с ним и неспособный уйти от него. Горький не оставляет в этом никаких сомнений. Он вкладывает в уста Булычева слова сожаления о прошлом: «В тринадцатом году, когда триста лет Романовы праздновали, Николай руку жал мне. Весь народ радовался. Вся Кострома» — и беспокойство о деле, о хозяйстве: «как я захворал, так и началось неладное». Горький показывает, что даже в своих мечтах о выздоровлении Булычев не перестает себя мыслить прежде всего хозяином: «Вылечишь, — говорит он доктору, — больницу построю, старшим будешь в ней, делай, что хочешь...» И Горький заставляет Булычева выразить ту растерянность, которую выразили, позднее ее ощутив, Достигаев и другие: «Что же такое случилось?» — спрашивает Егор Булычев и не находит ответа; только безрадостный вывод может он сделать, измеряя взором пройденный жизненный путь: — «не на той улице я живу! В чужие люди попал, лет тридцать все с чужими... Отец мой плоты гонял. А я, вот...» — «Вот чего я тебе не хочу!» — кричит он Шуре.

— «Грызет меня боль... как тоска!» — жалуется Булычев Шуре.

Горький писал в «Беседах о ремесле»: «Когда «нормальный», подчиняясь приступу «тоски», бунтовал, срывался с цепи религии и древнего семейного уклада, думалось, что он бунтует именно со страха перед завтрашним днем».

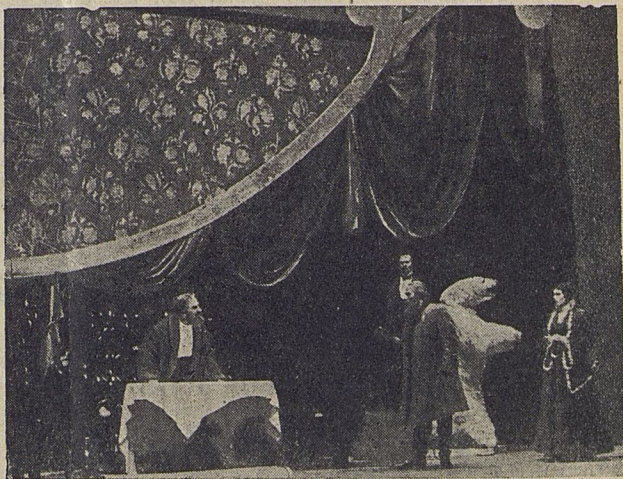
Из «Бесед о ремесле»

...весьма «нормальный» торговец мануфактурой Бакандин, дожив до 60 лет, начал читать книги Чернышевского и, когда что-то понял, так изумленно заговорил:

«Вот и перекувыркнуло меня из уважаемых в дураки. Подумать только: сорок лет деньги копил, сколько людей разорил, изобидел, а оно оказывается, что деньги-то всему горю начало».

Другой, старик Замоскинов, кричал:

«Попы забили нам башки, засорили души. Какой там к чорту лысому бог, когда я, богатый, тоже издохнуть должен».



Сцена из пьесы А. М. Горького «Егор Булычев и другие» в Большом драматическом театре

* Отрывки из работы «Эстетические взгляды Горького».

... Они «делают жизнь», а в ней откуда-то является сила, которая противоречит их стремлению к покою, к «более или менее устойчивому равновесию». У них есть кое-какая «историческая память», воплощенная в легендах о сказочных удачах и драматических неудачах сильных людей: дворян, купцов. Память эта внушает им, что победитель, увенчанный лаврами, на лаврах и погибает. Погибает потому, что объелся смядотами жизни, или потому, что забыл: жизнь — борьба, а моментом его забывчивости воспользовался более сильный и наступил ему на горло.

Из «Егора Булычева и других»:

Булычев. Всем известно: воровство — дело законное. И обижать тебя — незначит. От обиды ты не



Арт. Skorobogatov в роли Достигаева в пьесе «Достигаев и другие» в БДТ

станешь лучше, хуже станешь. И ворует не ты — рубль ворует. Он сам по себе есть главный вор...

Башкин. Это один Яков Лаптев может говорить...

Булычев. Вот он и говорит...

Булычев. ...попы, цари, губернаторы... на кой чорт они мне надобны? В бога — я не верю. Где тут бог?..

...в какой суд подам жалобу на болезнь мою? на преждевременную смерть?..

...все друг друга обижают, иначе нельзя, такая жизнь...

...Лежать — хуже. Лег — значит, сдался. Это — как в кулачном бою...

...Васька Достигаев на девять лет старше меня и немного жуликоватее, а здоров и будет жить...

★



Сцена из пьесы А. М. Горького «Достигаев и другие» в БДТ

Горький ярко обрисовал социально-исторические условия, вызвавшие в жизни достигаевщину и обеспечивавшие ее расцвет: предпринимательский угар военного времени и растерянность буржуазии в период революции. «Как это произошло? Жили-жили, строили дома, города, фабрики, церкви... и оказались чужими всем. И даже друг другу» — эти слова черносотенца Нестрашного сводят воедино все те выражения растерянности, в которых раскрывается внутренний мир Достигаевых: «как во сне живем», «все, брат... лопаются», «кому верить — не знаем». Как отчетливо проявляется в этих повторяющихся восклицаниях — лейтмотивах отдельных эпизодических персонажей — слабость и трусость русской буржуазии, оказавшейся способной перед лицом революции лишь на мимирию Достигаева, на авантюры Нестрашного, на тоску Мелании по «сильной руке»!

В эти дни люди прошлого, объединенные ненавистью, растерянностью, страхом, оказались наиболее разобщенными и наиболее чуждыми друг другу, и в эти дни обнажились, как никогда, их внутренняя опустошенность, их трусость, их ничтожество. Эпоха последних наследников прогрессивной буржуазии, эпоха Егоров Булычевых рухнула при первых выстрелах революции, но она медленно умирала уже задолго до этого, в ее трупных извержениях плодились предприимчивые, изворотливые человечки, умеющие со всеми уживаться и всех обкрадывать, ухитряющиеся как-то верховодить на политической арене и развивающие до карикатурности буржуазный индивидуализм, — плодились и тучнели Василии Достигаевы. «Я — веселый, уживчивый. А вы меня хотите бесповоротно уничтожить» — говорит Достигаев Рябинину, и в этих словах — весь Достигаев. И вполне естественно, что в дни Октября буржуа «пришли на поклон хитрости... хитроумию» Достигаева. вполне естественно также, что он предпочел в эти дни остаться в сторонке: «считаю так, что основной вопрос: с кем я? Отвечаю просто: ни с кем, только с самим собой». И напрасно кричит ему Губин: «врешь!», хотя он прав, конечно, этот «хулиган», — Достигаев не перестает быть со своим классом.

★

В статье Горького «О том, как я учился писать», написанной в 1928 г. (а в 1930 г. были написаны развивающие основные мысли этой статьи горьковские «Беседы о ремесле»), в сущности дан идейно-творческий анализ образа Егора Булычева: «Фабриканты, судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали в жизни место рядом с дворянством и, подобно древнеримским рабам-«вольнотпущенникам», садились за один стол со стоими владыками. Крестьянская масса, выдвигая таких людей, как бы демонстрировала этим силу и талантливость, скрывающую в ней, массе. Но дворянская литература как будто не видела, не чувствовала этого и не

изображала героем эпохи волевого, жадного до жизни, реальнейшего человека-строителя, стяжателя, «хозяина», продолжая любовно изображать кроткого раба, совестливого Поликушку». В замечательном образе Егора Булычева Горький и запечатлел такого строителя, стяжателя, «хозяина», расцвет сил которого совпал с апогеем внутреннего их разложения, являя собою жалкую картину развития русской буржуазии.

Если в образе Егора Булычева пересеклись и завершились две линии образов Горького — «выламывающихся» Гордеевых и «железных» Артамоновых, то в образе Василия Достигаева слились две иные линии горьковских образов: Маякиных и Самгиных. Горький писал в отрывке «О Сером»: «Черный, сливаясь с Серым, становится как будто менее определенно жесток, но более глуп и пошл». Достигаев — прямой потомок Маякиных, — в нем под покровом туповатых острот и изношенных пословиц скрывается цепкий хищник, готовый пойти на все ради своего благополучия и наживы. Но почва уже уходит из-под его ног, и остроклювый ястреб оборачивается слезливым ужом, — он не отхватывает кусков мяса от жизни, а ловит на лету те, что отлетают при взрывах истории, — и он готов в любое мгновение снова обернуться хищником — так сильны в нем импульсы к схватыванию и высасыванию, импульсы, игру которых под маской ясного, очевидного, жалкого приспосабливания дает с замечательным мастерством почувствовать Горький.

И именно потому, что почва уже уходит из-под ног Достигаева, он превращается в Иудушку Головлева, — основной чертой его душевного склада становится внутренняя опустошенность, опустошенность, которая проявляется тем более отчетливо, чем быстрее снует Достигаев, чем ловчее он жонглирует словечками, чем сильнее он пытается заполнить суетой эту ощутимую им самим пустоту. Горький говорит образами Егора Булычева: как талантлива крестьянская масса, каких сильных и волевых людей она выдвигала и как нелепо погибли эти люди, попав на «чужую улицу», влившись в эксплуататорский класс! Горький говорит образом Василия Достигаева: вот во что превращаются люди, развращенные страстью к наживе, — в людей, лишившихся своей индивидуальности, отдавших ее за золото, как отдал свою тень сатане герой замечательной сказки. Горький не отказался от раскрытия индивидуальности Достигаева, а сделал это с такой исключительной силой, что нужен гениальный актер, чтобы раскрыть все оттенки этого образа — образа человека, лишенного индивидуальности.

Горький писал в «Беседах о ремесле»: «Трагедия — это слишком высоко для мира, где почти все «страдания» возникают в борьбе за право собственности на человека, на вещи и где под лозунгом «борьбы за свободу» часто борются за расширение «права» эксплуатации чужого труда. Мещанин, даже когда он «скупой рыцарь», все-таки не трагичен, ибо страсть к монете, к золоту — уродлива и смешна. Вообще в старом, мещанском мире смешного столько же, сколько мрачного. Плюшкин и отец Гранде Бальзака — немало не трагичны, они только отвратительны. Я не вижу — чем, кроме количества творимого зла, отличается Плюшкин от мещан-миллионеров, неизлечимо больных страстью к наживе. Трагедия совершенно исключает пошлость, неизбежно присущую мелким, мещанским драмам, которые так обильно пачкают жизнь. Когда в Зоологическом парке дерутся обезьяны, — разве это трагедия?»

«Трагической была история старого порядка, — писал Карл Маркс в Введении к «К критике гегелевской философии права», — пока он был предвечной силой мира, свобода же, напротив, — личной прихотью, друими словами: покуда он сам верил и должен был верить в свою справедливость. Покуда старый порядок, как существующий миропорядок, боролся с миром, еще только рождающимся, на его стороне было

всемирно-историческое заблуждение, но не личное. Гибель его и была поэтому трагической. Напротив, современный немецкий режим, этот анахронизм, яркое противоречие общепризнанной аксиоме, напоказ всему миру выставленное ничтожество старого порядка, больше лишь воображает, что верит в себя, и требует от мира, чтобы и тот воображал это. Если бы он действительно верил в свою собственную сущность, разве он стал бы ее прятать под призраком чужой сущности и искать своего спасения в лицемерии и софизмах?»¹

Предоктябрьская Россия, конечно, резко отличалась от Германии кануна буржуазной революции, и прежде всего тем, что в России вопрос стоял уже не о свержении феодализма и победе буржуазии, а о свержении всех эксплуататоров и победе пролетариата. Но в предреволюционной России вопрос стоял еще и о победе буржуазии — сдавленные феодальными пережитками Булычевы ощущали свою гибель как преждевременную, и только Достигаевы, буржуа новой складки, ищущие своего спасения в «лицемерии и софизмах», успевали пережить свой жалкий «расцвет». Трагичной была гибель рыцарей печального образа, но ничего трагичного не было в гибели скупых рыцарей. Трагичной была гибель Гамлетов, но ничего трагичного не было в гибели отцов Гранде. Трагичной была гибель Егоров Булычевых и комичной гибель Достигаевых, и только специфические условия русской действительности соединили эту трагедию и эту комедию в одну трагикомедию, отображенную на ярком полотне драматической трилогии Горького.

★

Если можно сказать о молодой буржуазной Америке, что в ней не было ни времени, ни случая покончить со старым миром призраков, то этого нельзя было бы сказать о первом пролетарском государстве, устами своей партии заявившем о своем желании уничтожить этот мир призраков, уничтожить пережитки эксплуататорского строя в сознании людей. Пафос трилогии Горького — пафос разрушения старого мира призраков, пафос освобождения от гнетущего плена традиций, этой самой мощной консервативной силы. Это разрушение получает свое наиболее яркое осуществление в образе древней старухи Чугуновой, в этом обобщении «железных людей» Островского: «Кричи, криком кричи! — призывает она Меланию, — в колокола ударить надо, крестный ход вокруг города надо... Все кричите... Всем миром надо кричать...» И нас охватывает чувство замечательного злорадства, когда Мелания — непримиримая, злобная Мелания — может лишь бросить в ответ Чугуновой: «А где он, мир? Нет мира!»

Но драматическая трилогия Горького — не только картина трагикомического заката буржуазной эры, — это вместе с тем картина героического эпоса рождения эры пролетариата. Пафос трилогии — не только пафос разрушения старого мира призраков, — это вместе с тем пафос человечности, той человечности, гимн которой неустанно пел Горький, человечности, уничтожаемой эксплуататорским обществом, разьедаемой в нем страстью к наживе и возрождаемой у нас в героике социалистической стройки, — человечности сильного, волевого, непримиримого борца. Человека с большой буквы. Как любовно прослеживает Горький обретение мужества «Тягиным-Маминным» — этим обобщением чеховских лирических людей, с какой потрясающей силой передает Горький бунт монашки Таисии — пробуждение темной, придавленной политическим и религиозным гнетом массы! Горький писал об этом, как писали когда-то о деяниях эпических героев, Горький пел об этом героическую песнь, и Горький имел право сказать о себе:

«Я, старик... пишу сейчас в том настроении, которое на утренней заре культуры позволяло людям создавать неувыдаемые поэмы, легенды».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, *Сочинения*, т. I, стр. 402.